

И.А.Бунин

ВЕЛГА

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



И. А. Бунин

ВЕЛГА

Рассказы

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989



ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет,— ответила Марья,— туман. А собаки валяются, беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадники-мещане были, и правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну,— кричал один,— смотри сюда, получай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится,— уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

— Что зря толковать,— рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы,— все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду»,— и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не сто́ит,— сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно, — бабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, — верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, заносяя выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: «Угодники божии, святителю Мико-

ла-милосливый, столп-охранение людей, матушка, пресвятая Пятница — молите бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуски», а спокойный насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

— Вот домовой-то,— говорил он серьезно,— все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда»,— полушубков не шьют, больше помирают,— и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка,— сказал он,— даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то...— пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай, проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят,— сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего,— повторил странник.— Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевывал и ты,— вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели,— с ребятишками с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот, чтó я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала — Христом-богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон,— продолжала она, все более волнуясь,— гоню их каждый день на пруд... «Дай капуски, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,— думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.— Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор,— сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом,— отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто же?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел,— повторил Павел Антоныч.— Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскаляешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— Нá тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме.

Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой,— закричал Павел Антоныч,— я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настороживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом — Танька сперва не брала — «он черницщий, ну-кось умрешь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

— Погоди,— шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-заре
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

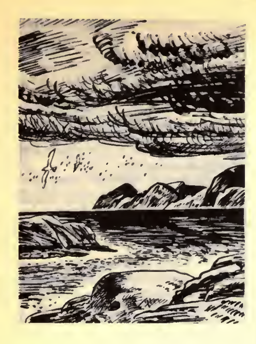
И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,— и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

1892



ВЕЛГА

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь,— точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря,— с глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и прибрежьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучит по ветру. Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко взлизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и взлетала вся в брызгах и пене. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка на ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенанин?

Вот она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены. Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э!..— доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жи-

ла молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко за селением сходившийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижины. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

— Смотри, смотри: гагара! — закричал он ей.

И они, как ветер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду — шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд, — говорила она ему,— мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд,— говорила она ему,— зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встречались подруги, она замолкала, и лицо ее становилось сурово и гордо.

II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбачьего селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добегало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон. Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее

босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распустив крылышки, на самые высокие гребни взметывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальною и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальною и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по прибрежью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

— Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе, как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

— Не хочу,— отвечала Снеггар, праздно и спокойно сидя у порога:

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки и рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

— Ирвальд,— сказала она,— я ждала тебя — и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

— Ты слышал мои слова, Ирвальд?

— Да,— сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга голову и проговорила:

— Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

— Мы никогда не будем жить с тобой,— твердо ответил ей Ирвальд.— Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце.— Я останусь одна? — громко сказала Велга.

— Да,— ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу

холодным ветром, вскочила она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

— Море не хочет, чтобы я умерла,— сказала себе Велга.— Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

— Снеггар,— сказала она сестре,— уехал Ирвальд?

— Да,— отвечала Снеггар.

— Когда вернется он? — спросила Велга.

— Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море,— отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд,— думала Велга, и сладостная горечь обиды томительно вливалась в сердце.— Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Ирвальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Велги. Ветер развевал его длинные седые волосы.

— Велга, дитя мое,— сказал он ласково,— отчего ты покинула родной дом? Вот поднимется зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроемся под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяной пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

— Велга! — сказала она.— Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

— Кто сказал тебе? — крикнула Велга.

— Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары,— отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Снеггар...— нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она сильной рукой распахнула дверь дома.

IV

Она быстро пошла по прибрежью на север. В холодный темный вечер вступила она в хижину Чарны, теп-

лую от костра, пылающего красным пламенем.

— Научи меня, о, вещая! — воскликнула она перед Чарной.— Укажи путь к Ирвальду!

— Поспеши! — сказала Чарна.— Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня — он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

— Пожалей меня, Чарна,— отвечала она.— Горько мне расставаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

— Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря,— сказала Чарна.— А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но глаза ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

— Я иду, Чарна!

— Поспеши,— сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку побережья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развевал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

V

На рассвете увидела она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикие северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они всю зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплыла Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него желез-

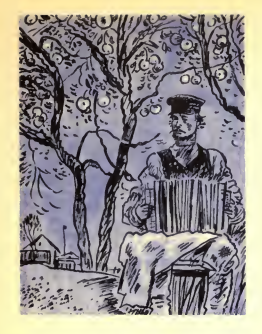
ные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

— Ирвальд! — крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белой чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика — голос друга коснулся его сердца, — но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаниях ее звучит радость.

1895



АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева,— с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж такого заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта,— делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога»,— косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а панева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою.— Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин.— Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кри-

чат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу,— первый признак богатой деревни,— и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да,— вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка,— явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,— виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками,— все о чем-то думает. «О добре своем небось»,— говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая,— «совсем хоть в гроб клади». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван,— отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в

праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,— так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти,— очень недавно,— имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,— так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,— ветви лип обнимали его,— был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет,— так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз,— окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,— два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во

всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки,— антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка»,— а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас,— крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапо-

гах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы,

которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя,— и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнистопестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги,— дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники, книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения,— рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза,— точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрады-

ваться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастнаго!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник то́пит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо.

В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

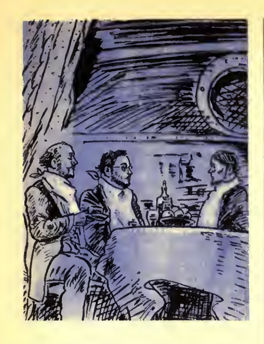
Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900



ТУМАН

Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. Была зима, но все последние дни стояла оттепель. На Кавказских горах таяли снега, а море дышало обильными предвесенними испарениями. И вот ранним сумрачным утром машина внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотом ног по палубе, полусонные, озябшие и встревоженные, один за другим стали появляться у рубки. Шел беспорядочный говор, а серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев; и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Потом туман сделался немного светлей, ровней и, значит, безнадежнее. Пароход снова шел, но так робко, что дрожь от работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, он направлялся теперь все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками,— тоскливой аспидной мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. С рей, с навесов и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летевшая из трубы, черным дождем сыпалась возле нее. Хотелось хоть что-нибудь рассмотреть в ненастной дали, но туман окутывал, как сон, притуплял слух и зрение; пароход был похож на воздушный корабль, перед глазами была серая муть, на ресницах — холодная паутина, и матрос, который курил невдалеке от меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мне порою таким, точно я видел его во сне... В шесть часов мы снова стали.

Вспыхнуло сквозь туман живым глазком электричество в фонаре на мачте, черными клубами величаво повалил дым из жерла тяжелой и приземистой трубы и повис в воздухе. Колокол без смысла и однообразно звонил на носу, где-то мрачным и тоскливым голосом простонала «сирена»... может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана... Туман темнел все угрюмее. Вверху он сливался с

сумраком неба, внизу бродил вокруг парохода, едва касаясь воды, которая слабо плескалась в пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь.

Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданиями беды, пассажиры сбились вместе с моряками в кают-компании. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было светло, шумно и людно. Играли в карты, пили чай, вина, лакеи бегали из буфета в буфет, хлопая пробками. Я лежал внизу, в своем помещении, слушал топот ног, раздававшийся над головою. Кто-то заиграл манерно-печальный модный вальс на пианино, и мне захотелось на люди. Я оделся и вышел.

Должно быть, всем было весело в тот вечер. По крайней мере, казалось так, и было приятно, что вечер прошел незаметно. Все забыли про туман и опасности, танцевали, пели, ходили с сияющими глазами. Потом устали и захотели спать... И большая, душная и жаркая кают-компания, в которой уже болезненно-ярко блестели огни, наконец опустела. А когда я заглянул туда через полчаса, то там был уже полный мрак, как почти и всюду на пароходе. Сверху доносился иногда звон колокола и был очень странен в наступившей тишине. Потом и он стал слышен все реже и реже... И все точно вымерло.

Я прошелся внизу, по коридорам, посидел в рубке, прислоняясь к холодной мраморной стене... Вдруг и в ней погасло электричество, а я сразу точно ослеп. Внутренне напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней палубе — и остановился, пораженный красотою и печалью лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Был уже очень поздний, — может быть, предрассветный час. Пока мы пели, пили, говорили друг другу вздор и смеялись, здесь, в этом чуждом нам мире неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такая же, как пять, десять тысяч лет тому назад... Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, — во всей этой ночи, в пароходе, и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением.

Медленно поднялся я на последние ступеньки трапа и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестели кое-где продольные полоски воды, — следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина, падали легкие дымчатые тени. В средине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, в мачтах — высота и зыбкость. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали золотые змейки. Блеск этот терялся в двадцати

шагах от меня,— дальше он мерцал уже чуть видно, как мертвый глаз. А когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц — бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина — тайна, часть того, что за пределами познаваемого...

Внезапно зазвонили на баке в колокол. Звуки уныло побежали один за другим, нарушая молчание ночи, и тотчас же послышался где-то впереди смутный шум и ропот. Мгновенно предчувствие опасности заставило меня впиться глазами в сумрачный туман, и вдруг кровавый сигнальный огонь, похожий на крупный рубин, вырос из тумана и стал быстро приближаться к нам. Под ним мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цепью освещенные окна, а в шуме колес, который был похож сперва на приближающийся шум каскада, уже выделялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, как шипит и сыплется вода. Вахтенный на нашем пароходе с поспешностью очнувшегося от сна человека машинально и нескладно забил в колокол, а затем тяжко захрипела труба, и из нее с трудом пробился широкий и мрачный гул, потрясающий весь остов парохода. Из тумана раздался тогда ответный голос, похожий на гулкий крик паровоза, но он быстро затерялся в тумане, а за ним медленно стал таять и шум колес, и красный сигнальный огонь. В этом крике и шуме чувствовалось что-то задорное и суетное,— верно, и капитан встречного парохода был молод и дерзок,— но что значила эта суетная смелость перед лицом такой ночи!

«Где мы?» — пришло мне в голову. Вахтенные, вероятно, уже снова дремлют, пассажиры спят непробудным сном,— туман сбил меня с толку... Я не представляю себе, где мы, потому что в этих местах на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, зачем я существую. И зачем эта странная ночь, и зачем стоит этот сонный корабль в сонном море? А главное — зачем все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значения?

Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть. На мгновение мне почудилось, что в невыразимой дали где-то прокричал петух... Я усмехнулся. «Этого не может быть»,— подумал я с какой-то странной радостью; и все, чем я жил когда-то, показалось мне таким маленьким и жалким! Если бы в этот час выплыла на месяц наяда,— я не удивился бы... Не удивился бы, если бы утопленница вышла из воды и, бледная от месяца, села в лодку, спущенную около окон пассажирских кают... Теперь месяц смотрит прямо в эти круглые окошечки и озаряет угасающим светом спящих, а они лежат, как мертвые... Не разбудить ли кого-нибудь? Но нет,— зачем? Мне никто не нужен теперь, и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу...

И невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали овладело мною. Думал я о том, что всегда влекло меня к себе,— о всех живших на этой земле, о людях древности, которых всех видел этот месяц и которые, верно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими друг на друга, что он даже не замечал их исчезновения с земли. Но теперь и они были чужды мне: я не испытывал моего постоянного и страстного стремления пережить все их жизни,— слиться со всеми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и бесследно скрылись во тьме времен и веков. Одно я знал без всяких колебаний и сомнений,— это то, что

есть что-то высшее даже по сравнению с глубочайшею земною древностью... может быть, та тайна, которая молчаливо хранилась в этой ночи... И впервые мне пришло в голову, что, может быть, именно то великое, что обыкновенно называют *смертью,* заглянуло мне в эту ночь в лицо и что я впервые встретил ее спокойно и понял так, как должно человеку...

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Я быстро умылся и оделся и, так как по коридорам парохода громко звонили, сзывая к завтраку, распахнул дверь каюты и, весело стуча ярко вычищенными сапогами по трапу, побежал наверх. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. А утро было ласковое и солнечное,— ясное бирюзовое небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов.

1901



У ИСТОКА ДНЕЙ

I

В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.

Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо,— погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.

А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.

Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано ни рвать, ни пачкать их: радостно уже одно то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.

Так было и сказано:

— Вот эта тумбочка с нынешнего дня — твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман,— остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности — и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашеный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос... Очень заманчива и паутина,— легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна... Но, вопервых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а вовторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запин-

кой, по-крестьянски — пуак — и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше... И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и, наконец, уже слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.

II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.

Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне,— и зеркало.

Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое — и непонятное. Я видал его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило — приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидал там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидал самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня — и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза — и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте... Потом снова открыл их — и снова увидал все то, что уже видел... Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня?

Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.

Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне — и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад — и все исчезло... И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.

III

Что было дальше?

Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.

Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания-то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.

Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.

Но как?

О, много было лукавств и ухищрений!

Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И, пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним — и опять испытывал его власть над собою.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери — и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... стократ заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!

Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?

Чтобы узнать это, нужно прежде всего обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна — и вдруг быстро оборачивался к туалету...

Нет, все по-прежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрыть глаза и притвориться спящим... А затем сразу открыть их...

Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы — так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!

— Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы — и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор, как только умерла Надя?

В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери,— зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.

И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль,

одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя — тайна!

IV

Ночи предшествовали тяжелые, печальные дни.

Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом.

А девочка была больна уже давно, и казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами.

В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые, жили мы тогда: мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель,— если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте,— человека без роду, без племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживавшегося.

Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая.

А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотонное чтение. И читал я как раз о ней: читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое за́мка в бурную и темную ночь рождества Христова. И когда она появилась наконец — столь грозная, что даже собаки на дворе завыли, услыхав вопли в доме,— тотчас же было наброшено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне!

V

Я уснул, чувствуя томительную тоску.

За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой.

Обычно со мной спала мать. Но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька. А в эту ночь даже и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шепотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду»,— и снова уходила.

И я пытался уснуть.

Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно совершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю — и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи.

Но даже крикнуть я не смел — так тихо было в доме и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покатый пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати.

И вот...

Поднялась какая-то возня, послышались испуганные, торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними — сдавленный, ужасный крик... Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате, сотрясая пол своею тяжестью, пробежала нянька с черным куском коленкора в руках...

Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту, слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платьице...

Помню, как мы остановились на

пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол, лампадке и этой кукле...

Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным...

Мне показалось, что он пьян: это с ним случалось нередко... И от этого мне сделалось еще страшнее.

А он, с истовостью пьяного человека, желающего показать, что он нисколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи — и я увидал бледное, безжизненное личико и тусклый блеск мертвых, слизистых глаз под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимися среди бледности... В этом было что-то безобразное!

Безобразно-ужасен был и сон, которым я забылся после того.

Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза.

Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором.

Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой?

Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестевшая в прорезе неплотно прикрытых ресниц?

Наконец настало утро.

VI

Ах, как хорошо сделал господь бог, создавши свет!

Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжких ночных сновидений! Как этот свет успокаивает, как укрощает и душу нашу, и все окружающее нас!

Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся.

Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало... О, каким печальным показалось оно мне!

Да и не одно оно. Все в доме было печально: и заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами, мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха-нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, из-под которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз...

А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвальнях попы, нанесли в дом холоду, запаха снега и ладана и стали с грустными причитаниями и пением ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей и дымить на нее из кадила...

И с какой изысканной деликатностью, с какой кокетливой печалью заливался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого и даже наглого о. Федора!

Как он легко, точно в кадрили, то приближался к столу, то пятился назад и своей ловкой рукой —даже не рукой, а только одной кистью — высоко взвивал пылающее кадило и потоплял в синих клубах церковного благоухания неподвижно лежащую куклу!

И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матери, когда заливающийся тенор грустно утешал ее неизреченной красотою небесных обителей. И ка-

кой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробик, наскоро сбитый из пахучего соснового теса, навсегда закрыли крышкой и понесли, среди пения, в розвальни, возле которых, в солнечной морозной метели, ветер развевал волосы на обнаженных головах мужиков!

VII

Надолго застыл после того в тишине и грусти наш бревенчатый флигель.

Весеннее солнце по целым дням наполняло радостным блеском детскую,— теперь нашу классную,— но померкли все мои радости!

Что это случилось с милой веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в могиле?

Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием?

С разгоревшимся личиком, с сияющими глазками, она была особенно оживлена в тот вечер — и вдруг поникла на плечо матери.

— Мама, бай!

И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее: живой из детской она не вернулась.

Вот идут дни за днями, а ее все нет — и никогда не будет...

Даже и люльку ее снесли на чердак...

Вот вынимают зимние рамы, и наша классная наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца... А ее нет — и никогда не будет!

Говорят, что она на погосте, в Знаменском. Но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, не там, а где-то далеко... в раю, в небе.

В тихие апрельские сумерки, когда я сидел с нянькой у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад, я подолгу смотрел на меркнущий нежно-алый закат, по которому громоздились синие тучки, похожие на саркофаги. И когда над ними в зеленоватом небе вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила мне:

— Вон душенька нашей барышни.

Но и в этих словах... Нет, это было слишком просто! Это было так же просто, так же ничего не объясняло, как и то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью.

VIII

И велико было мое недоумение, когда я убедился в этом!

Не раз отодвигал я зеркало от стены и не раз убеждался, что ничего-то нет за ним, кроме бревен, паутины и шершавых дощечек!

Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки!

И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены — и кухонным ножом приподнял одну из дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой ничего не было, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской.

Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом?

Нет, и там ничего нет: я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала — и увидал... стекло!

Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом каплю красной краски и увидел, что чудесное стекло стало стеклом самым обыкновенным: прильнувши к тому месту, где я скоблил, можно было сквозь стекло видеть комнату...

Где я был до той поры, в кото-

рой блеснул первый луч моего сознания, пробужденного светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?

— Нигде,— отвечаю я себе.

Но, в таком случае, я, значит, не существовал до этой поры?

— Нет, не существовал.

Но тут вмешивается сердце:

— Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое — тоже тайна.

Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал,— думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это?

Это тоже тайна. И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам.

Чем только не мучила она меня в пору моего младенчества!

Три свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти.

Вой собаки ночью — к смерти.

Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом,— к смерти.

Разбитое нечаянно зеркало — к смерти.

Черный коленкор, накинутый на него,— символ смерти!

А что творится ночью на чердаках, в поле, на кладбище! Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах!

— Вошла я это, матушка барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!

— Да небось платье твое отразилось.

— И, бог знает что! Разве я не помню, в чем была? То-то и дело, что в юбке в одной бумазейной да в темной кофточке!

И я порою думал: уж не права ли ты, моя старая наставница?

На зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад,— в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, сопутствующее мне от истока дней моих до грядущей могилы.

Я видел себя в этом зеркале ребенком — и вот уже не представляю себе этого ребенка: он исчез навсегда и без возврата.

Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его.

Видел юношей — и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое — это ясное, живое и слегка надменное лицо? Это лицо моего младшего, давно умершего брата. Я и гляжу на него, как старший: с ласковой улыбкой снисхождения к его молодости. А в зеркале отражается печальное и, увы, уже спокойное лицо!

Настанет день — и навсегда исчезнет из мира и оно.

И от попыток моих разгадать жизнь останется один след: царапина на стекле, намазанном ртутью.

1906



КЛАША

Клаша Смирнова кончала в уездном городе Быкове гимназию, когда неожиданно умерла тетка, воспитавшая ее, Любовь Лукьяновна Жемчужникова, кружевница и содержательница постоялого двора на Монастырской площади. Ивана Ивановича Жемчужникова в живых давно не было, Клаша осталась в эту весну круглой сиротой. Однако, по природе тихая и нежная, выросшая в полном повиновении тетке, она ничуть не растерялась. Справив похороны, она посоветовалась с Павлом Ивановичем Жемчужниковым, дьяконом, и обстоятельно написала в губернский город Алексею Лукьяновичу Нефедову, брату умершей, ее единственному наследнику. Но Нефедов не отозвался на письмо, и месяца два Клаше было трудно.

Всегда странно было ее положение. Все подруги ее по гимназии хорошо знали, что живет она, сирота, дочь неизвестного отца, из милости, среди приезжающих и уезжающих мужиков и прасолов, ест с деревянного круга требуху с хреном, ночует при лампадке и отворенных дверях в кухню, где спят постояльцы и кухарка, где тараканы и лохань с помоями, в которую всю ночь медлительно каплет вода из медного рукомойника; все знали это и дивились: живет в таком грубом быту, а нежна, хороша собой, ходит в гимназию в коричневом платьице и белых воротничках, учится французскому, делает реверансы начальнице, которая всегда приветлива с ней, но неизменно провожает ее долгим, неприятно-внимательным взглядом и втайне раздражается на нее даже за то, в чем она ни сном, ни духом не повинна,— за то, что второй год влюблен в нее молодой законоучитель, застенчивый батюшка с каштановыми вьющимися волосами и большими пугливыми ресницами... Теперь положение стало еще страннее: нужно было и в гимназию ходить, рассуждать там о древнерусской письменности или о типе Онегина, и в то же время, пользуясь только кое-какими советами дьякона, человека очень осторожного и уклончивого, уже самостоятельно править постоялым двором, толковать с кухаркой об обедах и ужинах для постояльцев, спорить с ними о цене на халуй, на овес, на сено и мучительно долго рассчитываться, проверять хромого дворника и думать, напоили ли корову, сыты ли свиньи... Но вот Нефедов, два месяца не отвечавший на ее письмо, неожиданно явился в Быков самолично — затем, чтобы везти ее к себе.

Был жаркий день, уже давно купались и купали лошадей в реке мещане, разъехались гимназисты на каникулы, отцвела сирень в монастырском саду, и цвела рожь в полях за монастырем; постоялый двор был тих и пуст, исхудавшие без призора свиньи ревели с голоду в своей жаркой закуте, с ногами лезли в

пустое, измазанное засохшим тестом корыто; Клаша, гремя от скуки коклюшками, сидела в тени у раскрытого окна, в которое горячо дышала сушью и зноем безлюдная и пыльная Монастырская площадь; как вдруг возле ворот остановилась новая, с резным передком телега, и с ее грядки неловко слез невысокий седой старик в картузе и поддевке, немного схожий с Толстым: завиваются из-под картуза матово-серебряные волосы, супятся под козырьком бугристые брови, еще густые, но уже серые, велики мясистые бледные уши, старчески худа шея и суха, обтрепана, легка раскидистая борода.

— А я за тобой, за тобой,— сказал он, даже не поздоровавшись, только мельком взглянув на Клашу маленькими водянистыми внимательными глазками.— Будет, поучилась, пора в свет выезжать, кальеру делать,— сказал он вдруг неприязненно и насмешливо, привыкнув всю жизнь играть, кому-то подражать, и повел загремевшую по камням телегу во двор, неуклюже ступая растоптанными сапогами. И Клаша, никогда не видавшая его, только много о нем слышавшая, знавшая, что он столь же любил ее несчастную мать, сколь не любил счастливую Любовь, вдруг вся вспыхнула от радости, от нежности к этому старику, к его бороде, худой шее и слабой старческой груди под розовой косовороткой, живо вскочила с места и выбежала к нему на жаркое крыльцо.

В числе привычек Нефедова была привычка удивлять неожиданными поступками, неожиданными словами, была манера уезжать из дома внезапно. Куда и зачем он едет, он домашним никогда не говорил, а спрашивать его не спрашивали,— остался страх от прежнего времени. Когда-то он свято верил, что расспросы — гибель для задуманного дела: «Закудакали — добра не будет». Под старость он не верил ни во что, и власть его к этому времени совсем ослабела,— своей волей стали жить и жена его Раиса Матвеевна, и сын Ефрем, и дочь Мариша, а он свою волю проявлял редко. Но когда проявлял, то, опять-таки по привычке, проявлял твердо, и ему уж не перечили. Так было и на этот раз: никому ни слова не говоря, Нефедов, после двухмесячного раздумья, вдруг решил ехать в Быков, чтобы взять Клашу к себе, и так и поступил, и всю дорогу зачем-то шел пешком, притворялся жадным стариком-мужиком.

В Быкове он расправился с делами, как он сам выразился, по-суворовски, в два дня: расчел дворника, кухарку, за бесценок продал на сальни свиней, за бесценок уступил дьякону весь домашний скарб, закрыл окна, запер на рыжий громадный замок ворота, прилепив к ним билетик: «Сей постоялый двор продается», взял с собой только клетку с цыплятами и, перекрестясь, тронулся домой.

— А вы мне, дядечка, очень нравитесь,— сказала, садясь в телегу, Клаша, удивившая его за эти дни своим спокойствием, соединенным с наивными вспышками радости.

— Ага! — ответил польщенный Нефедов.— Старая кобыла борозды никогда не испортит,— похвастался он, хотя Клаша много раз слышала от покойной тетки, что давно испорчена вся жизнь его, что он, весь век норовивший жить по-хорошему, установленному, устроиться возможно прочнее, по своим собственным, сто раз продуманным предначертаниям, прожил как попало, по чьей-то чужой воле, что семейный лад его, при самом своем начале, был разбит изменой Раисы Матвеевны, жившей с барином, у которого он был крепостным человеком.

Выехали по холодку, когда звонили ко всенощной, на блеск низкого солнца, и, оглянувшись на пыльный город, на его каланчу, Клаша перекрестилась, по-детски вздохнула

и оправила платье, усаживаясь получше. Пока не стемнело, кой о чем разговаривали, потом стали дремать. Ночью разразился ливень с грозой,— еще в сумерках все сверкало в тучах на востоке,— по дорогам образовалась страшная грязь, и крепкая лошадь Нефедова едва тащила тяжелую, хотя и с излишком подмазанную телегу. Телега поскрипывала, качалась и укачивала Клашу, спавшую под кожей, возле прикрытой веретьем клетки с цыплятами. А Нефедов, одолевая сон и старость, всю ночь крепился, играл в прежнего, хозяйственного и упрямого Нефедова: сидел, в мокрой чуйке, в мокром картузе, на краешке грядки, на изволок бежал возле колеса, закатавшегося в жирную грязь и в травы, поспешал за надувавшейся, мокрой и потной лошадью, на бегу подвязывал ей узлом хвост... Вблизи города стало светать, дождь перестал. Клаша очнулась и, взглянув из-под отяжелевшей кожи, вздохнула сладкой полевой сыростью, услышала шорох колес, воды и грязи, увидала сквозь редевший влажный сумрак бледную холодную на вид зелень прилегших к земле хлебов, втулку вертящегося колеса, всю осыпанную жемчугом — крупными каплями воды, свертывавшейся на маслянистом дегте...

— Это вика? — спросила она, разумея гороховое поле, мимо которого ехали.

— Вика — трава для скотины,— сказал Нефедов, шагавший возле ее головы.— Это, сударыня моя, горох. А тебе-то что?

Но Клаша не отозвалась — она опять крепко заснула. А когда въехали в город и опять потемнело, опять пошел сильный дождь и стал громыхать гром, да еще страшней, раскатистей, как всегда на рассвете да еще над камнем, над городом, она, накрывшись кожей, спала уже сидя, но, хотя и спала, все видела, как неживая,— видела предрассветные бледно-фиолетовые молнии, освещавшие черные крыши домов, на которых младенчески кричали от страха кошки, высокую колокольню, мелькавшую своей белизной при молниях, галок, кружившихся над крестом, а потом улицу, выходящую в поле, какие-то заборы и шумящие за ними липы. Цыплята пищали, все проснулись, лезли друг на друга, а Клаша сидела и спала. Нефедов долго вглядывался сумрачными от усталости глазами в ее лицо, сперва с удивлением, потом даже с некоторым страхом, и наконец пробормотал:

— Да что-й-то ты, господи, я таких и сроду не видывал! Ты спишь, что ли?

Клаша, бледная и странно тихая, слабо улыбнулась, но как-то так, что выражение ее неподвижных глаз ничуть не изменилось, и тупо сказала:

— Вы не бойтесь. Это у меня, когда я разосплюсь, бывает.

Сонная, она видела немощеную широкую улицу, выходящую в поле, старые усадьбы, похожие на деревенские, из которых самая большая принадлежала помещику Страхову,— «прежнему нашему господину»,— сказал Нефедов, кнутом указывая на высокий черный сад и на большой бревенчатый дом дикого цвета, глядевший на улицу чистыми стеклами. Проехав этот дом, телега остановилась возле маленького поместья, возле тесовых ворот. Над ними вился на шесте белый конский хвост,— нечто степное, азиатское,— а к ним примыкал тоже азиатский какой-то домик: его стена, та, что выходила на улицу, была глухая, без окон. Нефедов ушел в калитку, потом отворил изнутри ворота, и телега въехала во двор, устланный навозом, по которому со степной яростью носилась по рыскалу, гремела цепью желтая широкогрудая собака. Клаша слезла по колесу с телеги, поднялась на длинное деревянное крыльцо, на

которое глядели из-под навеса три окна. На пороге стояла высокая женщина с черной и, как показалось Клаше, красивой головой. Клаша ласково и тихо, как неживая, поздоровалась с ней и, пройдя по еще темному, теплому дому туда, куда ей указали, легла на постель и опять заснула.

В одиннадцатом часу вся нефедовская семья, уже сходившая по случаю воскресенья к обедне, сидела на крыльце за самоваром, слушая Нефедова, который, в круглых серебряных очках, очень хорошо умещавшихся в его больших глазных впадинах, пил чай с молоком и рассказывал о своей поездке, а Клаша все еще спала, и в открытом окне ее комнаты медленно дулась от ветра белая занавеска. Нефедов в церкви не был,— он, очень набожный, но не любивший духовенства, всегда осуждавший его за корыстолюбие и поспешность при исполнении служб, читал обедню дома, в своем чистом полутемном зальце, где было много церковных книг, образов старого письма, медных складней и стоял аналой. Утомленный бессонной ночью и чтением вслух, он рассказывал подробно, невыразительно, и путем слушала его только дочь, скромная на вид, стройная и небольшая, с твердыми ушками, полуприкрытыми сухими каштановыми волосами. Сын, высокий, гнутый, лепил бумажного змея, и его стоячие, близко друг к другу посаженные глаза ничего не выражали, кроме внимания к своему делу; он, преданный матери, всегда целовавший по утрам ее руку, ходивший с ней к обедне, за покупками, делавший ей бумажные цветы на образа и на лампады, к отцу был всегда невнимателен. А Раиса Матвеевна,— крупная, худая, с маленькой черно-глянцевитой головой, с длинными, редкими зубами,— мыла чашки и смотрела своими неприятными глазами на самовар: она уже с раздражением думала о заспавшейся Клаше. И вдруг щеколда в калитке стукнула, и как раз в ту самую минуту, когда на крыльцо вышла Клаша, наконец проснувшаяся и бесшумно умывшаяся за белой занавеской своего окна, во двор вошел Модест Страхов.

Он тоже заспался в это утро, как всегда, впрочем: покоен был его большой дом, тих кабинет, выходивший окнами во двор, широка кровать красного дерева, стоявшая под старинной, чуть не всю стену занимавшей картиной, под смуглой нагой Сусанной с миловидным овальным лицом, стыдливо и грациозно выходившей из мраморного водоема. Страхов, старый вдовец, живший в имении, верстах в пяти от города, никогда ни в чем не стеснял Модеста, давал ему во всем полную свободу, и Модест пользовался ею. Коекак одолел он гимназию, университета не кончил, хотя и не вышел из него, а просто забыл о нем, приехав на Святки из Москвы и увлекшись катком и любительскими спектаклями. Теперь он часто ходил к Нефедовым, и все дивились, зачем он бывает в этом скучном доме, в семье бывшего отцовского крепостного. Он был среднего роста, держался прямо, в одежде соблюдал щегольство, опрятность; чесался на прямой ряд и тоже очень тщательно,— ровно проложен был пыльный пробор в его черных крупных волосах, тускло блестевших от фиксатуара; брился по-актерски, и щеки у него были всегда голубые. Беспокойны были его коричневые глаза, но правильные черты лица оживлялись редко: тогда у него слегка дрожали руки, дрожали тонкие пальцы, которыми он всегда поправлял батистовый траурный платочек, углом торчавший из кармана его пиджака на левой стороне груди. Втайне гордясь знатностью своего рода, он занимался геральдикой и до смешного был сведущ в ней. Старик Нефедов

его боялся, но проще всего Модест вел себя именно у него в доме. Он был на «ты» с Ефремом и Маришей, которую всегда стесняло это. С напускной непринужденностью обращалась с ним одна Раиса Матвеевна.

Он вошел во двор, поднялся на крыльцо, всем пожал руки, обернулся к Клаше.

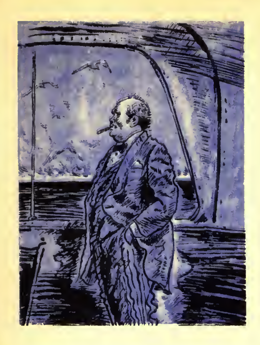
— А это, позвольте вам представить, моя племянница,— сказала Раиса Матвеевна не то насмешливо, не то церемонно.

И он особенно вежливо наклонил перед Клашей свой напомаженный пробор и слабо коснулся ее прохладной от воды руки. Потом взглянул ей в глаза, быстро окинул всю ее фигуру: со сна, с темным румянцем на щеках и темным блеском глаз, в беленькой кофточке, такой легкой, что в рукавах розово сквозили предплечья, она была свежа, хороша,— он живо почувствовал это. И она чуть смешалась и сбежала по ступенькам на густой навоз двора. Он поспешил заговорить с Ефремом, а она, щурясь, подняла глаза на небо и радостно сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ах, боже мой, как уже поздно!

Погода разгуливалась; тепло солнца, скрытого за облаками, доходило до лица, до рук. В небе пели невидимые жаворонки, серо-жемчужные облака высоко плыли над улицей, по которой тянуло легким, влажным воздухом и запахом цветов с поля, а в страховском саду, глядевшем из-за забора, ровно лепетала серебристая листва осин. И велик, живописен показался Клаше этот сад, темный, сырой внутри, в глубине, где на столетних липах вили гнезда ястреба, а под мшистыми елями зеленели и гнили скамьи, на которых уже давно не сидел никто...

Рим. 24 марта. 1914



ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Miserere»[1], входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константино-

[1] «Смилуйся» — католическая молитва *(лат.)*.

поль, и Палестина, и Египет, и даже Япония,— разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами,— с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой,— и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фи-

алковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины,— в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско,— задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы,— точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады,— в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода,— та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес,— наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито, человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный — тем, что крупные усы сквозили у него как у мертвого, в общем же милый, простой и скромный. В Средиземном море шла крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был кусками сахара насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубки; безответные, всегда шепотом говорящие бои-китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастливой случайности, представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая; он по росту казался среди других мальчиком, он был совсем не хорош собой и странен,— очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно

конские, смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована,— но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит; сердце ее билось от непонятного восторга перед ним: все, все в нем было не такое, как у прочих,— его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско, в серых гетрах на ботинках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь, в какой-то смутной неловкости, старалась не замечать его.

Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался; музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша, гигант командир, в парадной форме, появился на своих мостках и, как милостивый языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни,— сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся этим оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски:

— Go away![1] Via![2]

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, приятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри — огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами, одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и чье-нибудь «Снятие со креста», непременно знаменитое; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско чуть не сде-

[1] Прочь! *(англ.)*
[2] Прочь! *(итал.)*

лалось дурно: ей показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов; а там снова приготовления к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они и не запомнят, хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное: на Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых, крыльями развевающихся по ветру накидках — нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тонкошеими клячами явно фальшивым, обувь синьоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем с черными раскрытыми головами,— безобразно коротконогими; про сырость же и вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их то ходила бледная, с головной болью, то оживала, всем восхищалась и была тогда и мила, и прекрасна: прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь в конце концов и не важно, что именно пробуждает девичью душу,— деньги ли, слава ли, знатность ли рода... Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри — там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота и послушав абруццских волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы деве Марии, поселиться в Сорренто.

В день отъезда,— очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком,— уже многие годы изо дня

в день качавшаяся на этих волнах и в зной, и в стужу, и все-таки неутомимая,— только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то внизу. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему,— совсем стариком,— уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсинных деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания,— несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, ука-

зывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, — так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, — но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»[1], прибавил, что сегодня у них в

[1] Да *(англ.)*

вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

— Я видел ее на открытках,— сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом.— А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр,— ответил метрдотель.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— Ha sonato, signore?[1]

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий обидно вежливый голос:

— Yes, come in...[2]

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру

---

[1] Вы звонили, синьор? *(итал.)*
[2] Да, входите... *(англ.)*

к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично,— сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету,— как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружинилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась ко́робом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер,— самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора,— прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем

наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хринлое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско,— его больше не было,— а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto»[1],— сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам,— поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско.— Это совершенно невозможно, мадам,— сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере,— оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан,— потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, свер-

[1] Уже умер *(итал.)*.

чок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону.— Partenza![1] — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов,— и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— Ha sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов,— принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья,— целую ночь играл в кости в траттории,— и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки, с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками,— тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой

[1] Отправление! *(итал.)*

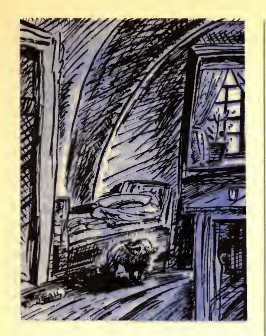
меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца. У одного под кожаным плащом была волынка,— большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел

корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что́ было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля,— клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Октябрь. 1915



СНЫ ЧАНГА

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках...

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стенекрыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит, — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими

простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный...

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!»[1] — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо...

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серозеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной зяби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях

[1] Очень хорошая собака, очень хорошая! *(искаж. англ.)*

и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской будке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем... И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая,— и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха...

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая это чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда после мучительного, беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море...

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее,

точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И, очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен... Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая... Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом,— всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана,— тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос,— человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко... Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее,— ишь какое оно от островков и рифов пестрое,— надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов... Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе...

И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину:

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно.— Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица жена и, в-третьих, чудесная дочка и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая,— плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней,— ну, скажем, почти в ней,— а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он.— Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг,— сказал капитан,— очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще добавил:

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожа-

щий на бегу пароход неустанно разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «нет, брат, жарко!» — сказал он,— но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом...

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро: его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки...

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной, среди краснолицых немцев,— людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных,— потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье,— и просидят там до поздней ночи...

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете,— злая и низкая.

— Ты посмотри кругом,— говорит он,— ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни бога, ни совести, ни

разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности,— нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более...

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запевает скрипка, за ней другая, третья... Они поют все страстней, все звончее,— и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то,— и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море...

— Да, так как это было? — не то спится, не то думается ему.— Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море!

Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике... О, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру... Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило,— море точно втягивало его,— и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильней заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что *все-таки* он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту, и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него...

Ночь же настала, страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу,— ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял

там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: изпод высокой, громадной кормы, изпод глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады бело-огненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди, и, крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какойто великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какаянибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана...

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье,— стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, под шум черных волн за открытым окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! *Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят.* Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака.— Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя,— в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла,— только быстро взглянула на меня,— и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «Помоги мне расстегнуть сзади платье»,— и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом...

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь,

и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна,— некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами,— и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном...

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч...

Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет, кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома...» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам...» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают,— идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном... Опять прошел день,— сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление...

Так, однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места, кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль...

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах,— Чанг как бы каменеет... О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо

отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем...» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины,— точно две сестры разных возрастов,— а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается.

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу.— Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями... Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан; в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда,— третья,— а какая она,— про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

Васильевское. 1916

СОДЕРЖАНИЕ

ББК 84Р1
Б91

Тексты печатаются по изданию:
Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1965—1967

Художник *С. А. Соколов*

Бунин И. А.

Б91 Велга: Рассказы/ Худож. С. А. Соколов.— М.: Современник, 1989.—63 с.: ил.— (Отрочество. Серия книг для подростков).

ISBN 5-270-00793-2

В книгу знаменитого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953) вошли рассказы о детстве («Танька», «У истока дней»), о русской природе («Антоновские яблоки»), о первой любви («Велга») и другие.

Б $\frac{4803010000-300}{М106(03)-89}$ 236—90

ББК 84Р1

ISBN 5-270-00793-2

Литературно-художественное издание

БУНИН Иван Алексеевич

ВЕЛГА

Рассказы

Редактор
И. А. КУРАМЖИНА

Художественный редактор
А. В. ДИАНОВ

Технические редакторы
Н. В. ГАНИНА, Е. А. ВАСИЛЬЕВА

Корректоры
Н. М. КОЧЕРГИНА, Е. Д. КОЧЕГАРОВА

ИБ № 5607

Сдано в набор 22.06.89. Подписано к печати 5.12.89. Формат 70×100 1/16. Гарнитура об. нов. Печать офсетная. Бумага офс. № 2. Усл.-краск. отт. 10,73. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 5,27. Тираж 1 000 000 (2-й завод 500 001—1 000 000) экз. Заказ 60. Цена 20 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР.
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

20 коп.



ОТРОЧЕСТВО

СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) — русский писатель редкого поэтического дарования. Особая сила бунинского слова, глубочайший психологизм его произведений, умение необычайно тонко чувствовать русскую природу и русский характер — вот благодаря чему год от года множится число искренних почитателей удивительного бунинского таланта.

Книга стихотворений «Листопад» (1901), рассказы «Грамматика любви» (1915), «Легкое дыхание» (1916), «Митина любовь» (1924), повести «Деревня» (1910), «Суходол» (1912), роман «Жизнь Арсеньева» (1927—1933), книга новелл «Темные аллеи» (1943) — знакомство с этим великим богатством ждет вас, ребята, в недалеком будущем. Заря, полыхающая ночь напролет, медленный дождь в вечернем саду, пронзительный запах молодой травы, шум ветра в чердачном окне, любовь, разлука, мужание характера, обретение воли, облака над степью — вот о чем не устает рассказывать внимательному читателю великий русский художник Иван Алексеевич Бунин.

«Современник»